



Мария Игнатьева (Оганисьян) родилась в Москве в 1963 году. Закончила факультет журналистики и аспирантуру филологического факультета МГУ. Живе́т в Барселоне, преподает русский язык, переводит каталонскую поэзию. Автор поэтических книг «Побег» (1997) и «На кириллице» (2004).

Мария Игнатьева

ПАМЯТНИК КОЛУМБУ

MOCKBA MMX

В оформлении обложки использована фотография Александра Слюсарева

Игнатьева М.

И 26 Памятник Колумбу: Сборник стихов и эссе. – М.: Факультет журналистики МГУ; Изд-во Моск. ун-та, 2010.-160 с.

ISBN 978-5-211-05924-5 Новая книга стихов Марии Игнатьевой.

ББК 84

[©] М. Игнатьева, 2010

[©] Факультет журналистики МГУ

I

НА КИРИЛЛИЦЕ



Это кто там печальным и старым В чине праведника-старшины? Это Юрий Никулин с Мухтаром На границе небывшей страны.

Циник ночи, любую безделку Привлечешь пятипалой тоской: Из лирической юности девку И рекламу любви на Тверской.

Вероятно, душа большевичка, И её не прогонишь взашей. В ней живучи любовь и привычка К непроцеженной гуще вещей.

Даже ставшая старой и нищей, Эта краснознаменная рвань Зависает над скарбом и пищей И не рвётся, блаженная, в рай.

Ей мерещится в смертном покое Древнерусского поля квадрат, Сказки бензоколонки Лукойе, Сыр и бор виртуальных отрад,

Запасное количество жизни, Подростковый какой-то недуг. Тихо охни и рёбрами стисни Всё, что было и выжило вдруг.

Начинается: «жили да были» — Деревянная сказка, враньё. Начинается: жили да выли Про дремучее время своё. Вот и мы теперь тут поживаем, Волочась костяною ногой, И самих себя воображаем Персонажами сказки родной.

Соловей поет соловьихе...

Я не соловью пою, а ворону. Дурочку в сандалиях разорванных, Учит меня жить по эту сторону, Где стихов не слышно на версту. Я ушла из песенного города, И теперь, как пугало, расту, Прилепившись к жёсткому шесту.

«Отпусти», — неслышно, неуверенно Говорю бесчувственной материи. Без тебя — свободна и потеряна, А с тобой при деле, да раба. Умереть — веселая судьба, Здесь, где из оливкового дерева Вырезают легкие гроба.

Нечёсаных, немытых, Нас тут научат жить, Рожать на вдох и выдох, И даже водку пить Глоточками, как птицы, Чирикая впопад. И нечего сердиться: Никто не виноват.

CADAQUÉS

И пока здесь чудачит Дали И цветут, нарядившись, оливы — Молоко и кисель — миндали, Жирный вторник цветов говорливых, Обнажается дно при отливах.

Этот шелест — рачки и моллюски, Тишины неразборчивый хруст, Наготы оскорблённые сгустки. Средиземного дня Златоуст — То ли шёпотом, то ли по-русски.

Господи, густой, густой Воздух города. Настой Света, тёмного по праву. Обречённо пей и пой Средиземную отраву.

От зари и до зари Обречённо говори Тем наречьем, на котором Пели рыцари, цари Толковали с Христофором.

Трубадуршей завозной Воспеваю горький зной, Что готически украшен Морем в обмороке башен Богородицы Морской.

В Средиземье ни с кем мне не горячиться за чаем.

При отсутствии времени у Адамова семени между морем и раем, ни света, ни темени — молчим, загораем.

Было время — я не знала, Что горит на солнце кровь, По-испански не читала... А теперь — не прекословь! Русскоглазая девица, Отворяй заёмный кров Яснооким, смуглолицым Победителям быков. Бычью голову не мучит Ни отчаянье, ни страх, А тебя они приучат К красной розе в волосах.

ΓΡΑΗΑΔΑ

Как волн небесных отголосок, Над морем веет ветерок. Голубоглазых анадалузок Гортанный реет говорок.

О чём насмешливо судачит, Зачем торопится ручей, В котором ничего не значат Ни это «ро», ни это «че»?

Я чую в речи этой зыбкой И поцелуй, и барабан. Но полумесяца улыбка На лицах новых христиан.

ΒCË ΤΟ 3ΟΛΟΤΟ

Карену Степаняну

По свидетельству поэтов Хоакина и Серафина Алварес Кинтано, «Геракл, от нечего делать, стал думать, где бы завести кабак, и проходя мимо того места, где сейчас Аламеда (севильский бульвар. – $M. \, M.$), остановился как вкопанный, набрал в грудь воздуху, взглянул на землю, взглянул на небо, и сказал: ни фига себе местечко!»*

Так появилась блистательная Севилья. Здесь хорошо всё то, что красиво, а всё, что хорошо, должно быть украшено и превознесено до небес и прославлено на все времена. Цыганщина вкуса граничит с утончённой до извращения изысканностью. Всё то золото, что блестит.

Начать с того, что Царицей города является María Santísima de la Esperanza Macarena, Пресвятая Богородица Надежда Макаренская. Неизвестный скульптор XVII века создал прекрасную Деву с нежным, трогательно юным лицом. Мантия Макарены украшена серебром, над Нею балдахин из бордового бархата, вышитого золотом и кружевами. Знаменитый тореадор цыган Хоселито Эль Гальо («Петух», 1895-1920) преподнёс Макарене, среди прочих драгоценностей, огромные изумруды, хорошо различимые на фотографических изображениях. Скульптуру наряжают и под личный Её оркестр выносят на улицу во время пасхальных процессий. А народ, обливаясь настоящими слезами, аплодирует и восклицает:

^{* «}Estaba el señor don Hercules / aburrido en el planeta / buscando un rincón con grasia / donde montá una taberna, / cuando al pasar por el sitio / donde hoy está la Alameda, / que por eso desde entonces / lleva ya el nombre que lleva, / se paró como embobao, / respiró con toas sus fuerzas, / miró al suelo, miró al cielo / y dijo: Gachó que tierra».

¡Macarena: guapa, guapa y guapa!

Макарена: красавица, красавица, красавица!

Когда в 1920 году героя Хоселито проткнул небольшой и подслеповатый бычок, и самый легендарный тореадор в истории отдал душу Богу, Макарену одели в траур по своему паладину, в первый, и пока последний, раз.

Так же (или скромнее: набожность измеряется в монетах, а те отражают религиозную чеканку вкладчика) наряжают всех святых города: хоть каждый день выноси. С той же опрометчивой щедростью называли улицы, отчего в нынешней потребительской тесноте соседствуют вывески улицы Семи скорбей Нашей Госпожи и банка «Кахасоль», улицы Иисуса Всесильного и кафе «Риоха»... Это соединение несоединимого, встреча мира видимого и невидимого, тонкого и грубого, эфирного и плотского, вполне естественно для местного сознания, поскольку и то, и другое для него — части одного театрального действа. Тело — декорация, душа — персонаж, а Режиссёру нравится Севилья.

Из этих мест вышел один из любимых жанров фламенко – севильяна: танец-смерть, танец-обольщение, танец-самоотдача, где партнёры не касаются друг друга, но стремятся - настойчивой чечёткой, перехлёстом широкополых платьев, пружинистыми выбросами локтей и колен – то ли к взаимному обольщению, то ли к убийству. Скрученная кисть, призывающая небо в свидетели, надменный поворот головы через плечо с неожиданно застенчивым подыманием глаз, это люблю-ненавижу, не полюбишь-убью, или ты-или я, один из двух... Как севильяна не похожа на каталонскую сардану, где, взявшись за руки, люди подпрыгивают в хороводе под еле слышный счёт ведущего. В Барселоне все вместе, ритмично и тихо, считают такты как песеты, опасаясь выделиться: если выделяешься, значит, выбиваешься из ритма; выскочки в Каталонии либо неумёхи. либо невежи. В Севилье же неприлично быть серым и бесцветным. Север кутается в телогрейку комильфо, юг до дна обнажает душу, не забывая при этом красоваться и требуя аплодисментов. Этим он, возможно, близок и нам, великороссам.

Если Бог есть, то всё дозволено. Андалусцы так долго смотрят на себя со стороны, что не умеют уже увидеть смешных сторон, потому что смешна сама смотровая площадка. Поневоле прыснешь, читая надписи на мемориальных досках, выложенных из керамических плиток. Вот пара образчиков севильской церемонности, особенно заметной в традиционно цыганском квартале, Триане:

Здесь родился Мануэль Рубио Тавира, образец художественной щедрости, художник Трианы и глашатай духовных и сердечных ценностей. Он желал одного: служить своему кварталу. В знак признательности эта доска. Триана, весна 2002.

Или:

Великий квартал Триана великого города Севильи — Альберту Хименесу-Бесеррилю, алькальду Трианы, и его супруге Асенсион Гарсиа Ортис, в память о трудах, осуществлённых на благо трианцев, чьими усыновлёнными детьми они чают пребывать. Триана, сочельник Рождества 1998

Пусть, что ли, и наши председатели райсоветов получают за благоустроенные дворики такие кафельные изображения свои и своих сподвижниц:

«Славный Красногвардейский район славного города Усть-ска — Ивану Петровичу Тютькину, председателю райсовета, и его супруге Анне Васильевне Тютькиной за благоустройство жилых домов, благодарные братьякрасногвардейцы».

Севилья — своенравное христианское дитя римлян, арабов, евреев и цыган. Витиевато-изощрённые орнаментальные плетения и замочные скважины арок достались в наследство от женственных мусульман. Нигде мне не доводилось встречать столько утончённых и обходительных собеседников, как на исламском востоке. Позволю себе «словцо»: не потому ли там закутывают

женщин в чадру, что ревнуют – не к другим мужчинам, а к своей ущербности?

Во время арабского владычества расцвел еврейский квартал. Вернувшиеся к власти христиане изгнали евреев и мусульман и даже морисков (новообращённых мусульман), но глаза андалусцев сохранили прищур полумесяца и страсть к восточной эстетике. Удивляет изобилие арабского орнамента на памятниках постреконкисты: как если бы пленным немцам, строившим дома для победителей, заказывали украшать их свастиками. Зато в средневековых, ещё арабами насаженных садах Альксара, жёлтые, оранжевые и рыжие мячики цитрусовых деревьев, играющие над головой в остролистных кронах, вызывают состояние счастья.

Ходишь и ахаешь. Смеёшься и плачешь. А разве слово «смех» не связано со словом «смешивать»? Смешное в Испании спускается от северных широт сюрреализма (Дали, Бунюэль) в сторону южного реализма, оборачивающегося карнавальным кощунством. Где ещё услышишь столько анекдотов на евангельские сюжеты? И не мудрено, если само благочестие здесь анекдотично. Любуются Богородицей-куколкой, украшают дома (сколько прелестных улиц с домами на подбор, один другого краше, с несимметричными аркадами, многоцветной керамикой, башенками, решётками) и патио, да и сами севильцы выряжаются, как, наверное, нигде в Европе уже не увидишь: причудливые шляпы и шляпки, каблучки... Где-то на центральном переходе этого развития (Λ амарк в Λ аманче!) — от севера к югу, от абсурда к реализму невидимого мира — маячит странная фигура Дон Кихота. Смешон или ужасен кавалер, причиняющий одни неудобства и страдания своим идеализмом? Где промежуточная стадия между ним и Великим Инквизитором – защитником бедных духом? Между пушкинским бедным рыцарем и платоновским Копёнкиным: чем копёнкинская Роза Λ юксембург не lumen coelum, sancta rosa? Или чем не Дон Кихот тот же Франко, получивший

реальную власть уничтожать врагов по-своему понимаемого рыцарства? Что, у генералиссимуса было меньше идеализма и веры?

> Al Cristo de los Gitanos Se le pierde la mirada Con sueños de carromato De panderos y guitarras

«Сны о телегах с бубенцами и гитарами затуманивают взор цыганского Христа»...

¡Olé! Пока безумец не поднял забрало и не схватился за шпагу, пусть он поухаживает за Макареной как за своей Дульсинеей, и положит к её ногам все свои сокровища, и в смешанном порыве страсти и благочестия воскликнет: ¡guapa, guapa!

Ни берёза, ни рябина. Ничего такого. Только снег. Сугроб. Равнина. Просто и толково.

Душа научилась любви человечьей, И не унижением кажутся ей Людские насмешки и узкие речи, А просто усилием тёмных вещей.

Среди человек мы живые – как вещи, Но мёртвые в нас зачинают детей.

Здесь я. Вернулась. На несколько дней. Вот и автобус такой же, и номер Тот же. Зима глинозёма черней: Снег в одночасье родился и помер. Сходит и жизнь, истомясь на путях Вечно бессмысленного переезда, Точно стыдится себя в новостях Памяти — и уступает ей место.

Вернуться. Топтаться в прихожей, Вчерашний начать разговор. И речью уже не похожей — На братьев моих и сестёр —

Не надо, не плачьте, я дома — Смотрю, узнавая живых, Но лица пусты, незнакомы, И сердцу не больно от них.

1989, 1996

Без упрёка и боязни Я гляжу на образа. Но пугают одноклассниц Незнакомые глаза.

Тёмно-лунные, родные, Проклинающие вся, И над собственной гордыней Насмехающиеся.

Хорошо, что их лелеют Озорные молодцы, И в утробах тяжелеют Легкокрылые птенцы.

Не хочу говорить на чужом языке. Я уже на своём не упомню, Слов иных. Бестолковее рыбы в реке, То-то глубже ушла, да — бездомней.

Отступая от слов человеческих, губ, Я попала в затопленный ящик, Где ракушечьим слухом уловлен испуг Всех живых и во сне говорящих.

Если б только на десять минут Мы смогли отложить попечение О земном, как святые поют, Мы бы вышли к иному сечению Наших буден, в которых темно Прижимаются лица к событиям, И занятие жизнью равно Равнодушно-бесстыжим соитиям.

Уложили снежок золочёной парчой На чугунных крестах, колченогих дорожках. И вдыхая апрельской зимы преизбыток, Очумели грачи, а зиме — нипочём. В самодельной избушке на сломанных ножках Подрались, и не вымели чашек разбитых.

Во земле иберийской, в обидах земных, Разгребая осколки домашнего скарба, Иногда уколюсь о булавку такую, Что заплакав, забуду своих и чужих. Арестантской походкой сбежавшего краба Поспешу по песочку в чащобу морскую.

Да ладно, не нуди на девственном манке Бесполой красоты. По ласковым словам на русском языке Соскучилась и ты.

И млея в полусне: давай, поговори Со мною, обо мне. Калитку отвори и высвети внутри Известное вполне.

Объёмные обиды холостые, Я прикасаюсь к ледяному дну, Отслаивая лица слюдяные В умноженную горем тишину. Здесь истина не ищет искаженья, Здесь первородной трусости мужской Под зеркалом томится отраженье И крестится испуганной рукой.

То ли вовне меня, то ли во мне Непроходимая эта разлука — Будто бы время погасло в окне. Остановилось. Ни света, ни звука.

Что же ты не отгоняешь тоску, Пялишься, как на Варшавском вокзале, Выудив из расписанья строку? Там и не помнят, кого провожали.

Известняковое, ватное дно. Медлишь у берега утренней дрёмы, И забываешь, что жили в одно Время, и, кажется, были знакомы.

Вымучив послушную улыбку, Здесь, в иных подробностях, учу, Быт, обожествляющий ошибку. Я сама не слышу, как молчу.

Ветви перевившихся растений, Сумеречный свет на рубеже Сновиденья — в разговоре с теми, Кто меня не слушает уже.

Α. Γ.

В чистой простоте евроремонта — Белого больничного листа, Тишина уныло и дремотно В капельницах света разлита.

Если и не госпиталь, то «боинг», Под крылом — обрывки небылиц: Те ковры на стёршихся обоях, Плавники тех шатких половиц.

Третьим поколением затрепан, Как роман Доде или Золя, Воздух тот, где непрерывный ропот — Рокот холодильника «Заря».

И даже сны у нас такие... Не хочешь — не припоминай, И с новорусской ностальгией Минувшее воспринимай.

Увидишь с берега другого Таких торжественных людей. Замри: на Ленинские горы Летит аквариум теней.

К бесчувствию располагает Воображённая вина, И хлам подводный подымает С несуществующего дна.

Век провожая, ни страха, ни горя Не испытаешь, а зря. Предполагается что-то другое С будущего января.

Так пожалей и фонарь, и аптеку, За повторенье налей. И прикрепи, не смущаясь, на стенку Минина, ГУМ, Мавзолей.

В ушах прозвучав, остывает, как звон, Волшебная сказка про Гека и Чука. Полёт насекомого — ноет разлука. Какой-нибудь Лещенко или Кобзон. Агония черно-белого звука.

Куда марширует шеренга детей — Отряд шелестит по закатному шёлку. Чубастый подросток, любя комсомолку, Из четырёхтомника выписал ей Стишок Евтушенко — а толку-то, толку...

Вот и речка подходит к концу – Рукавом солонеющей дельты. Вот и лошадь подводят гонцу: Мол, вали, надоел ты.

Это срок моей службы истёк У непуганых миссионеров. И теперь — как во сне — на Восток, В край голодных милиционеров.

Старообрядческая муза Да краеведческий музей. На земли бывшего Союза Трофейным чучелом глазей.

Там жизнь в бестселлеры сверсталась Бессмыслицею назывной, И тем чудней, что не рассталась С кириллицею неземной.

M. B.

С Новым годом тебя, со снежком Пастернаковским, выпавшим в Бостоне. А у нас — пролетел сквозняком, И лежит, точно снятые простыни, В жестяном пиренейском чану. Все равно называется манною, Потому-то и липнешь к окну, И таращишься сонной Татьяною На коровник, на луг и — залог Приключения — дым над гостиницей. И весёлый такой вензелёк На кириллице ли, на латинице.

ADRALL

Полусомкнутые веки Пиренеев на полях, Как в четырнадцатом веке, Беспробудны. А в аптеке – Муж аптекарши – поляк –

И аптекарша, просторна, Разговорчива, смугла. Дух лекарств и воздух горный, Воздух горный Из славянского угла.

Это гордое селенье У Европы на горбу, Где на мессе в воскресенье Замороженное пенье — Роза свежая в гробу.

Вечный сон средневековья, Родниковая вода. Сыр овечий, лень коровья. Берегите, пан, здоровье, Нам отсюда — никуда.

ПРАВДА ПОДОБИЯ

Может, я ещё возьму и увижу Маму, папу, бабушку, бабу Нюру?.. Дмитрий Веденяпин

Я неправдоподобно долго верила в Деда Мороза – лет до десяти, и, не исключаю, верила бы и до пятнадцати, не проскочи у матушки между словом, как о само собой разумеющемся, что, как ты понимаешь, выдумки это. Что?! – за мгновение ока девчушка превратилась в старушку.

У моей веры было внушительное основание: в каждом подарке под новогодней ёлкой была припрятана открытка с напечатанным на ней стихотворением, в котором этот подарок обыгрывался. Одному Деду Морозу было под силу сотворить открытку с поздравлением не только в рифму и по случаю, но — главное! — оттиснутым, а не рукописным. Как из магазина! В те скупые неопрятные времена даже машинописный текст поражал воображение чистотой и регулярностью строк. (Иное дело письма от руки: они глядели тем авантажнее, чем больше в них было нарядных и многозначительных перечеркиваний).

За новогодний стол (угадайте, были ли на нём шпроты и мандарины) садились впятером: мама, бабушка (это было одно слово: с кем ты живешь — с «мамабабушкой»), троюродная мамина сестра Мира, и бабушкин однокашник по газетному техникуму — дядя Рафа, бывший ифлиец и учитель истории в вечерней школе. Все пятеро были довольно одиноки: женщины без мужей, старик без семьи, ребёнок без братьев и сестёр.

- А как же открытки со стихами?!
- Дядя Рафа сочиняет, а мы с бабушкой печатаем на машинке.

Спустя ещё несколько лет такие же открытки уже придумывала и распечатывала я сама — для стареющих своих близких. Потом я выбыла в Испанию, следом умер дядя Рафа, за ним бабушка, а мама перебралась в Барселону. Мирочка осталась одна в Москве, дед Мороз, повидимому, тоже, потому что в Каталонию он за нами не помчался.

Здесь, в богохранимой Испании, совершенно иначе удовлетворяют детскую потребность в чародействе: подарки, в ночь с 5 на 6 января, доставляют волхвы, те самые, которые, по Вифлеемскому лучу, добрались до скалы, где скрывалось Святое Семейство. В домах снаряжаются «вертепы»: пещера из коры и мха, фигурки Святого Семейства внутри, волы, ослы, пастухи, а в Каталонии непременно ещё и карнавальный персонаж местного вертепа — садапег, человечек, справляющий большую нужду. На расстоянии от вертепа — три царя-волхва на верблюдах, иногда с пажами. Каждое утро дети придвигают фигурки волхвов на шажок к пещере с тем, чтобы к празднику они уже вошли и возложили дары к яслям.

В те годы, когда я замирала над открытками от Деда Мороза, мой будущий муж, малец из семьи деревенского плотника в Пиренеях, собственных домашних вертепов не видывал — в бедной многодетной семье не было средств на их обустраивание. Дети наведывались к зажиточным соседям: укладывать мох и ветки, прилаживать Вифлеемскую звезду, располагать керамических Деву, Обручника и Младенца. Расставлять ослов, коров и курочек. Играть с пастухами, поросятами, засранцем. Какие-нибудь трое деревенских жителей переодевались в Гаспара, Мельхиора и Валтасара и переходили от дома к дому, вручая конфеты и подарки (их заблаговременно и незаметно переправляли волхвам родители). Мой будущий муж диву давался, что у Гаспара из-под мантии выглядывают обычные башмаки («Это он надел, чтобы к нам сюда добраться», — объясняли взрослые) и что Мельхиор смахивает на соседа-пекаря, но ни одно

из этих обстоятельств не могло пошатнуть его твердую веру в чудесных царей.

Спустя двадцать лет после этих параллельных событий две линии пересеклись, и в той же самой пиренейской деревне наш трёхлетний сын отправился к волхвам за конфетами. Поскольку все, кто мог из жителей уже перебывали волхвами, то уговорили переодеться царёмафриканцем малоизвестную меня: наверняка никто из детей не заподозрит подделки. Валтасар, с физиономией, вымазанной черной тушью, в тюрбане и мантии, восседал в кресле на паперти рядком со своими товарищами-волхвами. Я раздавала конфеты и разговаривала с подходившими детьми низким, как только могла, голосом и покаталонски: Здравствуй, как тебя зовут? Слушался папу с мамой? Будешь и дальше хорошим в новом году? На те же идиотские вопросы прилежно отвечал и мой простодушный мальчик. И тут вдруг – вожжа под хвост – мне захотелось пошутить, и я обратилась к нему по-русски. Малютка завертелся по сторонам: мама, мама! И разрыдался не видя и не узнавая - его быстро увели. Одним словом: не мать, а черножопый царь-дурак.

За все эти годы в Испании у нас с сыном на Рождество повелось читать вслух «Рождественскую звезду» Пастернака. Смысл этого стихотворения, на четверть состоящего из непонятных мальчишке слов, в том, что и в самых будничных предметах и делах сияет величие божественного замысла:

И три звездочёта Спешили на зов небывалых огней. За ними везли на верблюдах дары. И ослики в сбруе, один малорослей Другого, шажками спускались с горы.

И странным виденьем грядущей поры Вставало вдали всё пришедшее после.

Все мысли веков, все мечты, все миры, Всё будущее галерей и музеев, Все шалости фей, все дела чародеев, Все ёлки на свете, все сны детворы. Весь трепет затепленных свечек, все цепи, Всё великолепье цветной мишуры...

Вот и на днях я заново прочла вслух это дивное стихотворение своему уже восемнадцатилетнему скептику. И было так же хорошо, как все эти годы. Похоже, что время сочинило довольно симпатичную рождественскую сказку: от открыток со стишками к драматическому переодеванию и снова к стихам.

...Всё злей и свирепей дул ветер из степи... ...Все яблоки, все золотые шары.

Но мне сдается, что то ли начинается, то ли началось что-то новое и в этом сюжете. Скажем, в этом году мне случилось провести дни от Рождества (25.12) до Рождества (7.1) в Марокко, во вполне библейских декорациях: с ослами, верблюдами, стариками-бедуинами в шилабах, с ночёвкой в пустыне под умопомрачительным звёздным небом. Всё оказалось совершенно настоящим - как открытка с напечатанным стихотворением. И так же волновало, как в детстве, хотя ни о каких волхвах я и помышлять не могла в шестидесятые годы на улице академика Обручева. Одно не дает покоя: почему последние годы именно на это новогоднее время приходятся стихийные бедствия: цунами, наводнения, землетрясения? «Кто, процитирую Михаила Айзенберга, - защитит от мысли, что всё напрасно?» Кто развеет тревогу о том, что я уже никогда не увижусь с бабушкой и дядей Рафой?

Хотя мне не нравится эта Страна разогретых камней, Душа моя — сумерки света — То стонет, то тянется к ней.

Наверно, когда-нибудь, съёжась, Под ватником, на топчане, В дремотной мечте уничтожусь, Очнусь в неродной стороне.

На улице музыка, пенье, Девица подходит к окну. La vida es sueño, es sueño... И перекрестившись, усну.

За небылицей вниз
По лестнице осенней.
Не сетуй, не клянись.
Заимствуй у растений
Смиренья и клонись
К зиме, к земле, к измене.

Старый город. Свиданья тайком. Но покуда по барам кочуешь, Разговор на пределе таком, Что и тела не хочешь, не чуешь.

Оставляя ленивой судьбе Честный подвиг решенья простого. А потом прочитать о себе У кого-нибудь вроде Толстого.

Деревьев, выгнувшихся вдоль Реки с рекою заодно, Плакучий шелест под водой, Как заводной.

Молчи! Я правильно живу, Соблазна тайного опричь. О Frailty, thy name is wo... Ты прав, о принц!

У гибкой женщины, увы, Нежна беда неправоты. Прости, что я с тобой на вы, А с ним — на ты.

Так механически дыша, Со дна отступнических вод На свет рождается душа. Да свет не тот.

Не запад уже, не восток – Какая-то тень с паутиною, Плывешь от нее наутёк, Кивая башкой по-утиному.

Дарёных свобод перебор, Но переберёшься и выяснишь, Какую свободу на спор Возьмёшь, а какую не вынесешь.

Не-существованьем в себе Плывёт моя старость начальная, С серебряным бесом в ребре — Не самое, в общем, печальное.

Спешит в пустоту наугад. Свободе семь вёрст не околица, Хотя бы затем, что назад – Не хочется, поздно, не колется.

Закрываю глаза: нелюдимо. Тихий час привидений дневных. Даже ты забываешься — мимо Снов — и не отражаешься в них.

Только нечто под кожею зренья – Кружева на песочной стене – Подступает праздною тенью И тебя приближает ко мне.

Из осеннего неба свисток — И летит паровоз на восток По полям, как ладонь, заскорузлым. Ух ты, тридевять этих земель, Точно в зеркале Галадриэль, Отражаются в облаке тусклом.

Это, кажется, времени знак. Дует ветер в зажатый кулак И редеет летучая рота. На вершинах заоблачных гор Выступает восторженный хор Похоронно-победное что-то.

Эхо горьких обид мировых Леденеет в лугах кучевых И ответить едва успевает. Но в пределах затверженных слов Инженерно-технический слой, Как умеет, так и воспевает.

И сердцу приказав: зюйд вест – Каким-то басом полупьяным, Ты озираешься окрест Привычным глазом иностранным.

Девиц неглаженные лбы, Юнцов нескошенные чёлки. Дикорастущие гробы На первобытной барахолке,

Где семилетний херувим Играет медью бесполезной, А небо свесилось над ним Недомогающею бездной.

Эти песенки тем и грешны, Что простой отвечают науке: В темноте раздуваются сны И в беде обнажаются звуки: Из-под свитера кесарев шов. Это жизнь защищается слабо, Абы как, плутоватая баба На субботнике вымерших слов. Голоса недоношенных дней... И в зрачке чечевичного глаза Продолжение байки твоей. Предсказанье верней пересказа: Ты сойдёшь в расписном городке -Золотая тесьма на открытке -И пройдёшь с барахлом в рюкзаке Мимо приотворённой калитки, Где в песочнице три алкаша Накануне какого-то мая, И сквозь прах розовеет душа, Не великая, не мировая.

Не всё же о крутой неразберихе Отечественных зол. Как Хайдеггер сказал (или Бибихин Удачно перевел):

Предчувствует и кротко допускает Предметы пустота. Домохозяйка-вечность обласкает И вора, и шута.

И потому не следует кичиться Утраченным стыдом. Мы всё равно не сможем отличиться Ни нынче, ни потом.

II

ВТОРОЕ ПИСЬМО ТАТЬЯНЫ $no_{\mathfrak{I}}$



Я плачу, зрачок наводя на лицо, Знакомое с юности — ты! — У этой присыпанной снежной пыльцой Вполне различимой черты.

По ту её сторону свет и пурга И ангельское кино, По эту не видно ни зги, ни фига, Томление духа одно.

Из наших, далёких, нехитрых вещей, Из доперестроечных снов, Каких наварили безрадостных щей, Каких нарубили мы дров!

Ты дни отсекаешь в московской тоске И бьёшься об них головой, А я задыхаюсь в игольном ушке Солёной воды голубой.

Но из одного и того же сырья И свет, и дорога к нему. Снежок запоздалый в окне января – Вернейшей порукой тому.

ЛИБРЕТТО

Думаю, что простой пересказ фабулы не помешает читателю: поэма сшита из лоскутов и в ней легко запутаться. Девочка-студентка-неофитка (это 80-е годы) влюбляется в деревенского философа, такого же православного неофита, семейного человека вдвое старше ее. На фоне разговоров о Флоренском и проч. она признаётся в любви. Он её отстраняет. Со временем она выходит замуж за иностранца, уезжает в Испанию, а спустя годы снова оказывается в этих местах.

На этот раз пленён он. Фабула «Евгения Онегина» чистой воды, поэтому поэма и называется «Второе письмо Татьяны». Она возвращается в Испанию, он забрасывает её любовными письмами. Одно из них находит жена, и, под её влиянием, новый Онегин прерывает отношения с Татьяной, написав в прощальном письме, что его чувства были не более чем наваждением — «бес попутал». Каждый возвращается к своей привычной жизни, и ничего не происходит, не произошло.

Мне видятся в этих перипетиях мужского сердца кривляния какой-то другой «пародии», ущерб нового человека, пытающегося выбрать между любовью и верой, но, похоже, впадающего в какое-то омертвение души, не способной ни на ту, ни на другую. Впрочем, пожалуй, прав и один мой приятель, считающий, что поэма «не про любовь, а про гуманитарный дискурс, про Шестова и Розанова, которые портят, или, точнее, сильно усложняют нам жизнь. В этом смысле, её сугубо литературная форма, отсылающая понятно куда, строит контекст в сторону литературы и литературоцентризма».

Думаю, что те годы заварили такую кашу в головах — философский серебряный век, Дивеево, «Роза мира», Кастанеда, Гурджиев — и всё это на остывающей комфорке советской энтропии, что выжившие поневоле слегка завидуют тем, кто родился, жил и умер в одном месте, с одной верой, с твердыми представлениями о правде и неправде.

Поэма впервые опубликована в литературно-философском сетевом журнале «Топос» http://topos.ru/article/6948

глава первая

ΦΝΛΟCΟΦ

На Ближнем севере, под Лугой, Дом архитектора. Туда С моею школьною подругой К хозяину с его супругой Я приезжала в те года.

Последний вздох до перемола Империи в ничейный прах. Земля пуста и небо голо. Чернобыль, Вильнюс, Карабах. И неофитство комсомола.

Исход утопленного рая: В проёмах илистого дна Душа дремала мировая И подымалась ото сна, В елейных водах оживая.

В густом лирическом тумане Нам время виделось ясней. Постилась и молилась Аня, Как одержимая, а я не Молилась, но дружила с ней.

Во мгле распавшихся времен, В раздрае перелёта птичьем Царили сноб и пустозвон, Но тот уездный Сен-Симон, Он и сейчас мне симпатичен.

Он был зациклен на идее О том, что лишь крестьяне и Монахи вызволить могли Царевну мёртвую — Россию — Из-под оплёванной земли.

Кричал, привстав из-за стола:

– Из недр России богоносных
Придёт спасение от зла,
Коль даже в пьяницах колхозных
Христова ветвь не отцвела.

А то молчал с улыбкой странной, И в дрёме лёгкой, деревянной Ладья вдоль Китежа плыла, И очарованная Анна Всё слушала, всё чай пила.

глава вторая

на пасху

Тихо. В Светлый понедельник Нам уснуть не суждено. За окном печальный ельник С темнотою заодно. На подносе деревянном Ярко-синее яйцо. Тусклое на безымянном Обручальное кольцо. Самоварный блеск двоится На подсвеченном стекле. Кто кого из нас боится В предрассветной полумгле?

Идём, ломая снег в коростах, Под перебранку чёрных птиц. Навстречу девочка-подросток С лукошком крашеных яиц.

Волос сухая позолота, В глазах всего и чересчур: Чухонской прелести болото, Татарской дерзости прищур.

Резинкой схвачены косички, За ушком родинка видна. — Куда бежишь?

– Святить яички.

Вы к нам надолго?

-На два дня.

Вот и хозяин, Анин идол, Мундштук на солнышке жуёт. Он нас давно уже увидел С крыльца и, усмехаясь, ждёт.

Высокий лоб над крупным носом, Весёлый отблеск карих глаз, Русоволос — великороссом Встречает полукровок нас.

А мы такие — городские, Брюнетки с русскою душой. На Аньке джинсы голубые И полушубок меховой.

Раздумий тонкие сплетенья На нежной коже у виска, Дымок зеленоватой тени, Колдующей вокруг зрачка.

Почти полгода приближаться, Чтоб на весеннем сквозняке Однажды к ватнику прижаться, Припасть к обветренной щеке. Ну, слава Богу, дорогая,
 Тебя к нам снова занесло.
 Сначала чай, а после чая
 На озеро, пока светло.

* * *

Космы снега в пожухлой траве. Неподвижная наледь на озере. Но чем к берегу ближе – резвей Пробивается первая прозелень.

По тропинке шагая без слов, Обернуться — чтоб встретить глаза его. Эхо тайных и узнанных слов Всколыхнулось и в воздухе замерло.

Отшив и рохлю, и нахала, Моя затворница читала, Бесполый тренируя ум — Roseau pensant и ergo sum — Под сводом Горьковского зала*.

Среди тех ламп большеголовых, Чей свет, надеюсь, не потух И до сих пор, столов дубовых, Обитых бархатом, — как пух, Витал гуманитарный дух.

В отличье от других наук, Тут явь и сон соприкасались И нежно вспыхивали вдруг Прелестной аурой вокруг Голов филфаковских красавиц.

^{*} Библиотека МГУ, на Моховой улице

Служили в странной этой нише Жрецы возвышенности низшей. Алтарь разрезанных листов: Дореволюционный Ницше И Розанов, и Лев Шестов.

И возбуждаемая ими, Мечтала Анна о любви. Там, под ресницами густыми, Её незримый визави Вздыхал в любовной пантомиме.

Смешав в «первичной простоте» (См. Леонтьева) желанье И благочестие, посланья Такие к брату во Христе Писала инокиня Аня.

«Брат любимый Алексей, Вместо слов и новостей, Шлю тебе свою любовь Выше новости любой. Не в Москве — всё время я Там, на кухне, у тебя, В твоём чудо-теремке, Или так — в твоей руке, Иль ещё — в лесу твоём С Богом и с тобой втроём. За тебя молюсь всяк час. Господи, помилуй нас!»

Влюбиться в друга, семьянина, В отцы годящегося вам, Глубокого христианина,

Конечно, славная причина Для тайных вздохов по ночам.

Но в облаках самообмана Есть утешение — земля: Сама бессмысленность романа. Куда опаснее змея Надежды, мучившей Ивана.

глава третья

ИВАН

Тонкий мальчик, любитель Платонова, Однокурсник своей Люксембург*, Привилегией вечно влюблённого Ближе брата, дороже подруг,

В лесопарковой зоне Чертаново Тихий юноша Ваня Бобров Слушал Анну, под ёжик каштановый Понимающе вскидывал бровь.

Из семьи инженеров-чертёжников Колобком укатил далеко— К просветителям новых безбожников: Ездил к Меню, едал у Дудко.

«Я люблю в литургии продлённую Древнерусскую явь», — говорил. Он с Флоренским глядел на икону и Флоренского боготворил.

^{*} Аллюзия на Розу Люксембург, идеал Копёнкина из платоновского «Чевенгура»

Уже прощается лесок
С весной на разогретых сходнях.
Иван, приехавший сегодня
От Алексея, трёт висок.

— Устал? Ну, как там наш народник?

Опять поцапались. – На тему?
Бердяева. Превозносясь,
Такую выдвигает схему:
Религиозный ренессанс,
Мол, погубил и их, и нас.

Я говорю ему: «Пойми же, В стране безграмотной, бесстыжей Ну, кто читал весь этот бред? Читали Ленина и иже». Ты слушаешь меня, мой свет?

И Анна слушает, готова Кружок увидеть на воде — Услышать о себе хоть слово, Но с раздраженьем слышит снова: Россия, Лета и т. д.

А среди этого расклада,
Когда терпенье через край,
Ни звука обо мне? Я рада.
Сказал, что девке замуж надо,
Чтобы не маялась. Давай?

Я помню Ванюшу Боброва. Меня в половине второго Он ждёт у вагона метро, У первого к центру. — Здорово! — Она не вернулась. — Ты про

Кого? – Понимаешь, осталась Гулять на горе Монжуик. Вчера её мать разрыдалась Мне по телефону... Мужик Там ждал её, как оказалось.

Обиды и ревности сплав. Он плачет, по-детски поправ
– Иванушка! – взрослые нормы, –
Шепчу и держу за рукав
Подальше от края платформы.

глава четвертая

ОТЪЕЗА

Не в коммунальных лабиринтах, Средь большевичек на мели И алкоголиков небритых — В квартирах малогабаритных Нас в оттепель произвели.

Гагаринский какой-то пыл Нас породил в шестидесятых. Он лёд вселенной растопил И рыбежиром снов детсадных К иным туманностям уплыл.

Как форма пустоты тепло Играет в амфорах разбитых, Неслыханное НЛО, Взойдя на внутренних орбитах, В нас прошлое произошло.

И теснота знакомых лиц, Метро, отечество, квартира, – Смешались с дымом небылиц, И сердце ныло у границ Иного времени и мира.

Быть может, этот дух, а не Период нищеты и фальши, Нас резко вытолкнул вовне. К себе самим. К чужой родне. От места запуска подальше.

* * *

Она уехала, как все те, Кто попадал в свои же сети, Сбиваясь с верного пути: Умышлены девичьим мозгом Мечты о юноше заморском Вдруг воплотились. К тридцати.

Но уезжать с молитвословом К тореадорам чернобровым, Забыв проверить тормоза!.. Друзья Терезы и Хуана*

^{*} Святая Тереза Авильская и святой Хуан де ла Крус, испанские мистики XVII века.

Не понимали ни аза В стране честного чистогана.

Пусть эмиграция печаль, но И репетиция летальной, Невольной перемены мест, И мимикрийности оценка (Диеты, возраста, акцента): Кто не меняется — не ест.

Где стол стоял? И где устои? За что боролись, что ж, на то и... На то и время, и судьба, На то и годы, жизнь, и люди, Чтоб научиться прах иллюзий Смахнуть с младенческого лба.

Точно прячась от Руси Среди вынужденных гор, Я произносила «si». Десять лет прошло с тех пор.

Десять лет как день один. День грядет очередной. Тех берёз и сих осин Громче говор не родной.

Волк с медведем пополам – Постмичуринская смесь. Я ещё и тут, и там. Я уже ни там, ни здесь. глава пятая

ОСТАВШИЕСЯ

А ну-ка, память, — ход обратный: Немного вправо и назад. На папке надпись «Ленинград». Доисторической печатной Машинкой выбитый доклад.

Партконференцию* людей Слепых, но русских и не подлых, Благословляет Алексей: Сынов отечества на подвиг Спасенья праведных идей

(Перед могилой, не походом). «...Чтобы России не пропасть, Даёшь обещанную часть: Крестьянам — землю. — Точка. — Власть — Советам. — Точка. — Мир — нарро∂ам...»

(Машинописной опечатки Удар по зрению люблю. А наши строчки, хоть и гладки, Но в них бессмысленностью гадки Непопаданья: ююю.)

«...Россия – мужнее ребро, Её, как бабу, не хитро Унять любовью или плёткой. Но не купить за серебро, Как шлюху, тряпками и водкой...»

^{*} Речь идёт о московской партконференции в июне 1988 года.

Стон пожелтевшего листа: «Душа не очерствела в ссылке, Она склонится у креста Смиренной девочкой в косынке». И та-та-та и тра-та-та.

Стуча по клавишам, во мглу Глядит мой друг, пока в углу Томится дух эпохи новой, И разливаясь по стеклу, — Сентябрь рябиновый, кленовый...

* * *

Мы переписывались. Редко. «Привет, подруга. О тебе Нам не доносят ни разведка, Ни спутники, ни КГБ.

Была ли ты у М-ских? Скучно. Верней, скучаю. По зиме И чашке чаю. Однозвучно, Как и положено в тюрьме.

Мой день таинственный и странный. Лежу на пляже — благодать. Ты приезжай — растут бананы. Мы будем вместе их жевать».

* * *

- Есть от Аньки письмо. Загорает.
- Загорает? Ну что ж, не беда.
- Неужели всё любишь?

– Бывает.

Не всегда.

Поседел и раздался, поблек. На поношенном свитере перхоть. Почерк ветоши у человек И вещей тот же самый.

– Приехать

Собирается?

– Вроде бы да.

– Только «вроде бы»?

- Пишет: «железно».

Свист на кухне – вскипела вода.

– Ты бы меньше курил.

- Бесполезно.

Это, знаешь, как в облаке дым Или облако света Подымается, неуловим, — Только выдох предмета.

- Ты о чём?

— Полнота пустоты. Не от старости руки уронишь. Импотенция детского «ты», Тут не то, что не трахнешь, — не тронешь.

Той – лежать на песке В эмигрантской тоске. Ну, а этой – в Москве Гладить по голове. О Earl Grey, Обогрей!

глава шестая

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Поднимается звук — придорожная пыль. И глаза прикрывая от пыли, Различу на ладони три тысячи миль Суеверных, как хлеб на могиле.

Расстояние в мякиши перевести И гадать на них: чёт или нечет. Птичка Божья в крестовом саду свиристит И, как пуля, над ухом щебечет.

* * *

Как тяжёлый урок, свой последний уход Проведу и слезою не выдам, Улыбаюсь супругу – убьёт – не убьёт, Как всегда, с неприкаянным видом.

Потушить на поверхности черной воды Излученья безумных багрянцев— Все равно что непроизносимому «ы» Сладкозвучных учить иностранцев.

Живёшь, не ведая греха. Перефразируя В. Х. — Между помолвкою и загсом, Где вам оставят два штриха За вашу дурь и сотню баксов.

Потом весь век клянёшь судьбу И путы племенных табу, И день-деньской, и шило-мыло.

И вспомнив всех, кого любила, Не улыбаешься в гробу.

Замужество! Как ни хитри, А всё бедняжкой Бовари В тоске по паре идеальной, В иллюзии провинциальной, Считаешь карты: две — на три.

И Аня грезит наяву, На мужа глядя: déjà vu, – Насмешка или наважденье? Как вдруг – в свободе пробужденья – Решенье принято: в Москву!

* * *

Ожиданье автобуса. Пьян Предстоящим событьем Иван. Нынче в доме у старого друга... И в какой-то Испании муж... «Впрочем, чушь».

- Видишь тётку с лицом ГТО? Если б я не уехала, то Я бы так же глядела истошно Из-под сбившегося платка. Своего я узнала, возможно, Двойника.

Как нащупывать медь в кошельке, Иль угадывать смерть по руке, Иль заглядывать в окна к царевне... Этот вовсе не дачный народ Возвращается ночью в деревню, Где — живёт.

Новой жизнью и памятью древней На берёзе вскипает слеза...

- Нам слезать.

* * *

Было время: вдоль тех же кустов Шли гружёные тяжестью всякой — Апельсины, тушёнка, Шестов. А теперь добрались за десятку. Эй, хозяева, есть кто в дому? По ступенькам — в знакомую тьму.

- Это Ванька! за дверью шаги, –
- Я узнала по голосу. Ваня?
- Открывай, дорогая, свои.
 И не двери, а свет открывая,
 Появляется женщина из
 Рая памяти.
- Вот так сюрприз!

Здравствуй, Аннушка! Сколько же лет Ты у нас не бывала?
— Лет восемь.
Километры пропущенных лент От «прощайте» до «милости просим».
Оператор, снимающий жизнь,
В этом месте, прошу, задержись.

Те же коврики – киноварь, ярь. Уголками зверей остролицых Петушки и лошадки, как встарь, На неслышных летят половицах.

И врываясь на кухню, со всей Силой друга обнять:

— Алексей!

глава седьмая

ДРУГИЕ БЕРЕГА

Сквозь тюремные ли прутья Трёх меридианов – те Берега и перепутья На тридцатой долготе.

Где совхозный архитектор Загляделся на меня, Там ещё как будто некто Тихо плачет у плетня.

С неисправленной одышкой Речь, как птица на юру, Неосознанною вспышкой Всколыхнётся на ветру,

Не привычка, не причуда, Чужедальное родство. Не гони меня оттуда: Там и нет-то никого.

О, те блаженные места, Где и трава растет, как счастье. Где облака читал с листа Чернов и отгонял ненастье*. И тот глинтвейн, и речка та.

^{*} Поэт Андрей Чернов: «Когда над Вырой облака // Удерживал я над тобою...»

Кто только тут не жил да был: Рылеев с Пушкиным и Рерих... Набоков бабочек ловил. Здесь гордо местный старожил Любуется на красный берег.

И Оредеж, и неба склон... Их пропускают, как стекло, Стихи божественной Олеси Тех лет. О, слава равновесью: Не всё размылось, утекло.

* * *

Всё, о чем мечтала, мучилась, На родной вернулось круг.

— До чего же я соскучилась По тебе, мой милый друг! По избе твоей и озеру — Миру, выпавшему в миф.

— Так не всё тебе там по херу Средь магнолий и олив?

— Север твой, Алеша, цепче всех Цепей — беда, дурман.

— Ну, пойдём с тобой, пошепчемся. Отпускаешь нас, Иван?

И опять идут, как некогда
В том апреле молча шли,
Среди тающего снега да
Светающей земли.
Не пасхальным — петропавловым —
Пробирается леском
В свете сумерек опаловом,
Как русалка, босиком.

На ближнем севере, под Лугой, В июле нежная жара Затягивает косу туго И раскаляется с утра. И ветер робко, с непривычки Её касается волос В вагоне ранней электрички Под стук тоскующих колёс.

* * *

Нина ходит невесомой Дна не чувствующей поступью. Оступается — бессонной Головой мотает: пёс тебя!

И очнувшись от проклятья Гордых «предали» и «отняли», Затихает у Распятья, Как волна у края отмели.

Так темнеет на изломе Времени, в себе зависшая, Пустота в холодном доме — Горсть тепла и нечто высшее.

Тени вечера колышет, Перед образами клонится. То как роженица дышит То не дышит, как покойница.

Предстояние. Истома. Все исполнится, получится: Блудный муж проснётся дома, И во сне умрёт разлучница.

Исчезающее чудо – Поздней страсти разнобой. Запах ладана и блуда В тишине предгробовой.

В этом выморочном поле Грязь, и с неба моросит. Сердце, сжатое от боли, Кулаком себе грозит.

Алексей – Анне

«Наваждение — напасть. Всласть — упасть. Всласть — украсть.

Сердце бросить — залитой Солнцем, той, Зо-ло-той.

Что жена? – Так, луна. Се-реб-ро. Бес в ребро.

Жёны бесятся вовне. Ты ж во мне. Я ж в огне».

И когда проходит наважденье, Опадают листья в пустоте Гулкого, как ложь, воображенья. Серебрится иней на кусте.

К отпусту торопится последний Прихожанин, по снегу труся. Колокол рождественской обедни Предвещает жаркого гуся.

Площадь, будто нервной запятою, Линией домов окружена. Верно, суетится над плитою Пасечника добрая жена.

Что мне мёд тех сумасшедших писем, Дёготь наступившей тишины? Друг от друга больше не зависим, Никому друг друга не должны.

глава восьмая

«ЁЛКИ-ПАЛКИ»

Тишина в декорациях новой Москвы, Ёлок-палок, иголок, опилок. Только песня слышна поднебесной братвы— Не дави ты, душа, на затылок.

Напоследок жемчужную выловить власть, Без проверки на новую честность. И какому же русскому это не всласть—Оттянуться и в небе исчезнуть?

Тяжёлым степом ног венозных Передвигается Москва На пересадках 90-х. Там смерть легка и ложь права. Там пьют кондиционный воздух.

Там сирота стоит на стыке Веков с улыбкой до ушей. И пусть, как в песне Вероники, «Мне многое не по душе», Я из того ж папье-маше.

Мой путь уныл и голос тих, И мне с богатою подружкой Приятно в «Палках» дорогих Сидеть под ёлкою под русской И жрать «телегу» на двоих.

В трактире, печкою нагретом, Мне в кайф под водку с винегретом Хмельной выслушивать рассказ О том, как сделался поэтом Когда-то просвещавший нас,

О том, как мыслящая проза Над страстью одержала верх, И архитектор из колхоза Стал вновь обычный человек. «Прости мне ложь апофеоза.

Я не люблю. Мне Бог помог», — Он написал без рифм лукавых. — Такой мороз от этих строк, Что, верно, бес, продиктовав их, Сам от их пошлости продрог!

Улыбкой злобной и несчастной Кривится чуть опухший рот. Жалея Аню, пью компот. — Поедем вместе на Песчаный? И дочка ждет, и кот поёт.

Летят машины, город пыльный Огнями новыми горит. Погас восток, и рай открыт. У входа человек мобильный С самим собою говорит.

ЭΠΝΛΟΓ

Светоносные вещи себе на уме, Так по лучику, по человечку Исчезают из виду, но ставлю во тьме Михаилу-архангелу свечку.

А еще – различаю искусственный нимб Над разборками жизни вороньей: Электронный галдёж тишины – и над ним Отблеск памяти односторонней.

Ни ёлок, ни палок, ни Анны. В какие уехала страны? К какому припала плечу? Не ведаю и не хочу. Соседка по парте всего, Сестра моя по поколенью, Ты брезжишь в углу моего Сознанья насмешливой тенью. То сгинешь, то ухнешь совой: Смеёшься сама над собой.

А тот, победивший в игре Со старостью беса в ребре, Оправился после испуга. Он колет дрова во дворе, Его уважает супруга.

Мы, каждый в своей конуре, Давно уж не видим друг друга.

И Ваня усвоил урок — Не сохнет по беглой москвичке. Он изредка под вечерок Приходит ко мне по привычке, И чайника свист, как свисток Гатчинской электрички, Возможно, счастья залог.

POST SCRIPTUM

Я сочиняла эти строки, Когда на северо-востоке Мела чеченская чума, И кущ небесных новостройки, Носились по ветру дома.

Как раз тогда приезд подруги Меня отвлёк от новостей, И я от ненавистной вьюги Укрылась в памяти своей, Процентщице чужих страстей.

Вот вся история. Не мне в ней Искать запрятанный хитро Клад аналитика: нутро, Подкорку, ужас ежедневный Перед подъездом и метро.

Я понимаю: как ни хрупки И мысли наши, и поступки,

Они, по счастью, ни фига Не поддаются мясорубке Австрийского большевика.

В гостях у жизни, не ахти Как ловко топчемся в передней. О чём молчим, зачем пыхтим? В многоголосье наших бредней Не Фрейд проникнет, а Бахтин.

Аюбя в судьбе литературу, Полунарочно, полусдуру Такой сюжет вплетаешь в ткань, Что руки в ноги и тикай, Пока не съели за халтуру.

Но правдой чувств обезоружен, Вдруг исчезает, как мираж, Минувшей жизни персонаж, Что твой Чердынцев или Лужин, Владим Владимирыча блажь.

1998-2004

III

ПАМЯТНИК КОЛУМБУ

В ночь с четвёртого на пятое У дремоты под пятой Набухают веки ватою И свинцовою водой.

Но не спи, пока рифмуется Слово, ладится с другим, И с душою соревнуется В славословье херувим.

Величай в полночной темени Колыбельной набело— Понедельник полувремени, Наступившее число.

Семнадцатое апреля веснадцатое согреля

и солнечное плетенье и зонтичное цветенье.

Оглядываясь на вторник, догадываюсь о горних

возможностях пролетевших, о ложностях преуспевших.

Пускает побег растенье, пускаюсь в побег за тенью

опавшего дня осенне, пропавшего для спасенья.

ВЛАХ В ВЕНЕЦИИ*

Чем он никогда не грешил, это смешением понятий, оправдывающим прозябание.

С. Гандлевский, эссе «Чужой по языку и с виду...»

Специфика эмигрантского существования заключается в развитой способности автоматически смешивать понятия: за-граничность жизни, не выводя жителя к пограничным ситуациям (скорее, спасая его от них, во всяком случае, в уютных странах), тренирует его на равновесие в абсурдистски ненастоящем пространстве. Спустя и двадцать, и еще десять лет, вдруг улыбнёшься бутафорным именам своих окружающих: Мариона, Джузеппе, Чарльз. Неужели я настоящий, и действительно смерть... пришла?

Чтобы не свихнуться, занимаешься бесконечным переводом: слов с одного языка на другой, понятий из одной культурной программы в другую; переводишь незнакомые психологические типы на знакомые — с Фомы на Ерёму; приспосабливаешь душу, долго цепляющуюся за покинутый рай, к телу, попавшему на ближний крючок. Артикуляция чужой речи вырисовывает зарубежные морщины на лице, жестикуляция иначе тонизирует мышцы рук, а ноги осваивают походку, учитывающую соседние башмаки: не давить никого, но и не отступать и вежливо двигаться к своей цели. В чём эта цель — тайна для тебя, да и для туземцев она неразрешима, просто потому что как таковая не определяет их образа жизни (если только не принять всерьез высказывание одной моей испанской родственницы: «живём, чтобы жить хорошо»).

^{*} Полный текст опубликован в журнале «Знамя», № 6 за 2008.

В числе необходимых мимикрийных механизмов адаптация к ужасу с помощью смеха. «Не в этом ли секрет того, что русские в эмиграции шутят смешнее, чем у себя дома?» – думала я, сползая под стол от очечем у сеоя домаг» — думала я, сползая под стол от очередной шутки. Дело происходит на корабле, плывущем по Темзе. Дорогой груз — партия поэтов-участников ежегодного конкурса «Пушкин в Британии». Из условий для участия: «В Турнире могут принимать участие только авторы, проживающие за пределами России только авторы, проживающие за пределами России и пишущие на русском языке. Возраст участников не ограничивается. Необходимым условием участия в Большом Открытом Финале и публикации в книге — является приезд финалиста в Лондон. Авторы приезжают и размещаются за собственный счет». И вот существа, нашедшие свой способ выживания — сочинение стихов, — тянутся свой способ выживания — сочинение стихов, — тянутся в город Лондон из Америки и Австралии, Израиля и Швейцарии, Голландии и Испании. Отовсюду. До того организатор фестиваля, Олег Борушко, прочитывает сотни стихо- и прозо- творений, отбирает двадцатку, из коей десять—пятнадцать человек добираются за свой счет до ринга в Ковент Гардене. Затем чтения, голосования, присуждение призов. Нет опустевшего помещения, в котором звучали «Я, я, я. Что за дикое слово», «Мне больше не страшно. Мне томно», «Но если по дороге куст», и «Чаши лишившись в пиру отечества», а есть корабль дураков, плывущий по Темзе-реке Бог знает куда и зачем. И славно. Впрочем, многое стоило поездки в Лондон. Например, знакомство с двумя замечательными леди, членами жюри — Натальей Ивановой и Валентиной Полухиной. Сам Лондон, осенний, прохладный, упоительный. Да и триста фунтов стерлингов за второе место — не фунт изюму. Искреннее спасибо устроителям.

А еще не вредно посмотреть на себя «в высоком лондонском кругу» (пушкинская строчка, с которой нужно было начать одно из конкурсных стихотворений) без спеси и с нежностью к товарищам по идиотизму. И раз уж конкурс назывался «Пушкин в Британии» (как если

бы невыездной Пушкин все же оказался в Европе), хочется мне утешить себя и читателя лучшим, по-моему, стихотворением на тему чужбины. Это «Влах в Венеции» из «Песен западных славян».

Я послушался лукавого далмата. Вот живу в этой мраморной лодке, Но мне скучно, хлеб их мне, как камень, Я неволен, как на привязи собака. Надо мною женщины смеются, Когда слово я по-нашему молвлю; Наши здесь язык свой позабыли, Позабыли и наш родной обычай; Я завял, как пересаженный кустик. Как у нас бывало кого встречу, Слышу: «Здравствуй, Дмитрий Алексеич!» Здесь не слышу доброго привета, Не дождуся ласкового слова; Здесь я точно бедная мурашка, Занесённая в озеро бурей.

Такие стихи приучают серьёзно и спокойно смотреть в лицо своему прозябанию. Не смеясь и не смешивая понятий.

Полчаса прошло с полуночи, День тринадцатый настал. Завтра девушки и юноши Подползут под пьедестал.

А пока, забыв вчерашние Достижения, как миф, Засыпают, как домашние Звери, лапы заломив.

Шерсть топорщится на темени, И зевком разъята пасть. В золотой уютной темени Хорошо ребятам спать.

Этот сон и есть отечество: Огородик, дом с трубой. Молодое человечество Завтра выйдет на разбой.

MAME

Боже, пережившим войну и горе, Дай еще немного мира и моря.

Поезжай в Неаполь и припомни, как при Сталине Горький живал на Капри.

Ты ж при Сапатеро, Путине, Буше, Саркози и Меркель живёшь все лучше.

Лётная погода, плёвое дело −Села в самолётик и полетела.

1516

Там, где остановишься в молчанье, Там и начинается звучанье Сокровенной ноты Низами. Не мешай ей вынужденным хамством Своего дыхания — замри.

Там поставлен над Казанским ханством Мальчик недоделанный, дебил — Шах-Али, назло татарским крысам, Чтоб Казань не перепала Крымским, В русских царских санках покатил.

Слушать снег о скользкие полозья, Диалог земли с земною осью: Сквозь непобеждённую пургу Выступит нечаянный придурок, Запоёт несчастный недотурок, Вот и лихорадка, и гу-гу.

Так-то: ради жалости к ребёнку Песней под единую гребёнку Всю страну косматую стяни. Неродная песенка-вещунья Под татарской рожей новолунья Посреди космической степи.

Почти двухметровая девка в метро Пьёт «Старого мельника», будто тоскует По житнице счастья. Старуха с ведром И не одобряет, и не критикует, Она догорает, как в церкви свеча. Качается в ритме колёс каланча.

Громкоговорителя голос родной Всё с тем же советским покоем всеведущим Нас предупреждает о станции следующей, Как Фанни Раневская: «Крошки, за мной!» Малютка выходит, за горло свою Бутылку держа. И конец интервью.

Смотрю, как живая, на розы в ведре. Мне, кажется, всё это снится с тех пор как Другая страна расцвела на заре Ноль Первого века и вянет в разборках, Хоть пивом запить или песней запеть, Те срезаны, эти останутся зреть.

Мелькает скользящею змейкой в песках Попутный вагон, темнотою извергнут. Эх, на золотых от любви лепестках Последние искры безропотно меркнут, Как некая, всеми забытая цель... Мы к Новому Мельнику едем в тоннель.

ЭЛЕГИЯ

Скоро полжизни пройдёт за границей. Господи, как удалось сохраниться, Корни пустить в пустоте? Что меня вынесло — заколдовало — На берег моря, в цепь заковало — Байки травить на вирте?

В ветках застыв паутинного древа, Вянет красавица — рыба и дева — Всё ж не исчезла во лжи: Через пройдя унижения детства И преступления зрелости, средство Я отыскала. Скажи!

Только-то это и важно по сути: Как избежать растворения в мути Мимо текущего дня, От колыбели до третьей женитьбы, Как растворимое время сгустить бы До полноты бытия?

Я насчитала четыре отмычки К преодолению сна и привычки, Впрочем, хватило б и двух: Роды и слёзная память о Боге, Приостановка дыхания в йоге, Рифмой натянутый слух.

Всё-таки речь не о них, а о пятой. Горло сведёт, и заплачут ребята, Гостья взойдёт на крыльцо. Может быть, ночью — в пёстрой сорочке, С острой косою, в белом платочке, С русским, как в сказке, лицом.

Что ж: на родном понимая наречье, К милой сестрице выйду навстречу, Руки воздев, воспарю. И с высоты обновлённого духа — Облака жизни из праха и пуха — Сброшу в огонь чешую.

29 января 2004

Беженка с московских тротуаров, Образец почтения к судьбе, Если доживу до мемуаров Собственных, я вспомню о тебе:

Как жила за плотной занавеской Где телят меж фикусов пасут, Из святой покорности советской Принимая временный абсурд.

Л. Ш.

Да простит меня Леонтьев сердитый, Жизнью средней европеянки нежной Я утешилась, как вышло на поверку. Незаметна и незнаменита, Я похожа лицом и одеждой На моих соседей по веку.

Изменилась по щучьему веленью. В воду снов ушла с головою. В чистом поле без чувства и мысли Чучелом безликим белею. Там в полуночи ветер воет О медведях, пионерах, коромысле.

БАРСЕЛОНА

Сено ворочать время велит. Я же заладила всё про солому. Так и умру, не успев похвалить Мачеху-сваху свою — Барселону:

Это объятие нежной воды, И тишину разомлевшего тела, Эту способность у края беды — «Бог с ним» да «что уж», «экое дело».

Я научилась: отставив печаль По белокаменной, блудною дщерью, С кротостью моря ласкаю эмаль Небытия и в минутное верю.

Я не уйду от густой пелены Этой роскошной красы не по чину. Мальчик с глазами зелёной волны Сердце мое умыкает в пучину.

Благословлю на готических швах Нитку модерна, стежок наважденья И поцелуй на солёных губах — Так, на секундочку, до пробужденья.

ВЕСЁЛАЯ ЧУЖБИНА*

П. Л. и Ю. М.

1.

Город Барселона располагает к благости, веселью и наблюдательности. Синее море – в порту дремучие мачты прогулочных яхт, а на горизонте оптические игры парусников с облаками – это море тепло телу летом и приятно глазу зимой. Гора Монжуик («еврейская гора») закрывает вид на юг, препиренейские холмы не дают разгуляться глазу на север. Остаётся, встав к морю задом, а к городу передом, шагать по самой весёлой улице Европы – бульвару Рамбла: на одном её конце Колумб-памятник тычет пальцем в сторону Америки (хотя там на самом деле Индия), на другом – площадь Каталонии. И вот в разбивку к нашему шагу: Рамбла ремесленников (брошки в виде велосипедиков, колье из ракушек, керамические фонарики), затем Рамбла уличных художников (более естественный вариант Арбата), Рамбла живых скульптур (нацелил на прохожих жуткие когти вампир, взмахнул крылами ангел, элегантный господин в белом костюме и белом котелке уселся, спустив штаны, на белоснежном унитазе), Рамбла цветов, Рамбла газет...

Здесь особенно здорово в ранний час, когда цветочники выставляют корзины и вёдра, и во влажной ненадышанной прохладе раздаются запахи роз, гиацинтов, лилий. Туристы ещё не выбрались из гостиничных номеров и не тянутся по бульвару, глазея по сторонам. Зато уже кое-кто вовсю поспешает: например, Чавье, переводчик «Гарри Поттера» на каталонский, подгоняет сыновей в школу; пожилая

^{*} Полный вариант статьи опубликован в журнале «Знамя», N 9 за 2009.

дама Малена толкает тележку по направлению к средневековому рынку «Бокерия»; немка-скрипачка Доротея сворачивает в театр «Лисеу» на репетицию; элегантный китаец Ли Фей, в кепке и с шарфом, запарковав госвелосипед (компонент муниципального транспорта), перебегает бульвар, торопясь на работу в Школу языков.

Шаг в сторону от Рамблы — и вы пропадаете в готической тени, отбрасываемой городом: узкие тёмные улицы, над головой нависают то горгульи (фигурные водосточные желоба), то горшки с геранью и развешанное на балконах белье; арки с подворотнями, церковь святой Марии Морской с невероятным огромным кругом узорчатого окна на фасаде. Ещё шаг — и вы в Олимпийской деревне, в экспериментальной лаборатории которой фабрично-складская темная зона превратилась в зелёный и синий (здесь море) жилой квартал. С любой точки городского пляжа видна огромная серебряная рыба без головы и хвоста, поодаль от нее как бы повисают в воздухе три огромные фигуры — пирамида, куб и сфера. Геометрия улиц (Диагональ, Параллель, точные квадраты кварталов Эйшампле) выражает главное в духе этой страны: почти масонскую (недаром здесь расположена главная ложа Испании) смесь расчёта и безумия, так удачно нашедшую выражение в инженерно-кондитерской архитектуре Гауди, в сюрреализме Дали, сновидческих абстракциях Миро. И в народном танце сардане: чтобы его сплясать, нужно слушаться счетовода, поэтому лица у всего хоровода исполнителей крайне сосредоточенные, будто деньги считают.

В жизни, а не в танце, тутошние «дети солнца» просты, поверхностны и охотно смеются над фекальным юмором, что поначалу вызывает недоумение, пока не окажется, что большей части местных молодых людей свойственны такие славные достоинства, о которых заезжим российским снобам в юные годы и мечтать не приходилось: здравый смысл и культура беспечности, умение спеть не ломаясь, когда попросят, и станцевать на трезвую голову. Пей, колобок, воздух той культуры, в которую тебя завел

твой авантюризм и бабкин недосмотр. Позволь кровообращению двигаться в ритме чужого танца. По-волчьи выть не всегда плохо, особенно если это не волки, а люди, много поработавшие на то, чтобы выжить без обиды в западноевропейской тесноте.

<...>

3.

День святого Георгия, драконоубийцы и спасителя принцессы, и покровителя Каталонии, – это каталонский вариант Валентинова дня. По преданию, из крови убитого дракона выросли розы, поэтому на Sant Jordi, 23 апреля, парочки дарят друг другу розы. Цветы пока (все труднее становится понять границу между равноправием полов и их смешением) получают, как правило, дамы. А кавалеры получают по книге. Почему книги? Происки книгопродавцев, легенда о том, что в этот день родились Шекспир и Сервантес? Как бы то ни было: села и веси Каталонии покрываются книжными лотками и ведрами с розами. B школах к этому дню приурочиваются jocs florals – литературные конкурсы, традиция которых восходит к средневековым цветочным играм. Мой сын, к слову, в десятилетнем возрасте получил свою единственную премию за следующий стишок (подстрочник с рифмованного оригинала):

OKHO

Сколько всего можно увидеть в окно, если бы не мешала учительница.

Буквальный перевод превратил немудрящее детское изделие в отличное восточное двустишие. Договорю: у двойственного эмигрантского существования мало шансов сохранить в нетронутом виде изначальные ценности, но появляется возможность их перевода, иногда даже в лучшую сторону.

Разговоры. Смеётся иной. Время клонит к обеду исправно. И невеста, одна за стеной, Приодета, причёсана славно,

Чтоб в железобетонную клеть Положить под стеклянной рогожей. А как со стороны поглядеть — И на похороны не похоже.

ОБРАТНЫЙ СЧЁТ

Обратный счёт как частный случай Обратной перспективы, лучшей Из видных духу. Следы, оставленные нами, Сулят культ личности, разруху, Войну, цунами.

Как разобраться в отраженьях Времён друг в друге? Оружейник Иного цеха Натачивает меч булатный, И звук неслыханного эха Летит обратно.

Назад не глянешь без боязни, А тут и будущее дразнит Бездарным чем-то. Кто сеет опухоли семя: Газеты, звезды, Novecento? Змея в Эдеме?

Из той же шерсти эти страхи: И память сердца Андромахи, И крик Кассандры. В себе запутавшейся паркой Вели рукам: не прикасаться, Язык, не каркай!

Умей прожить, как все сумели. Мечтай над спящим в колыбели, Гнись у Распятья. И пусть течет себе молитва: О, девять восемь семь шесть пять и Четыре три два....

ПАМЯТНИК КОЛУМБУ

Пространству делает козу и Гордо и глупо На юго-запад указует Палец Колумба.

А мы спиною к Лукоморью Колумбограда, Глядим на луковое горе Его распада.

Беспечное разнообразье Лица и вещи Нас настораживает: разве Уже не вечер?

У нас-то ушки на макушке, И сердце в пятках, Готово к новой заварушке Европорядка.

Дрожит зверюшкою смятённой У края лога, На неисхоженной и тёмной Границе Бога,

Где Рильке с Дрожжиным в обнимку — Экран зависший — Сквозь электрическую дымку Луиза с Ницше.

Поддайся этому же трюку Развоплощенья: У Бога в сотовую трубку Проси прощенья.

И голос медленный и клейкий Со дна сознанья Вберёт светящиеся клетки Припоминанья.

Сквозь неочищенный и грубый Поток кумыса Нам приоткроется сугубый Участок смысла.

Все пораженья и потери Зубри, как в школе. Quousque tandem abutere? Вот-вот: доколе?

март 2005

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

1

День недели на кладбище белом. В полудрёме зареванных глаз Мы прощаемся с мысленным телом, Постепенно вмещающим нас. На своей человеческой фене Провожая живущего в дом, Вслед за ним в акушерские сени Нецелованным тянемся лбом.

1997

2

Шифферса проводивши, Оплакав Дениса, Повторяю тише: «О, юг, о, Ницца!»

Теперь и это уже не птица.

Я запасаюсь мольбою заранее, Словно в метро — проездным: Смерть, исполняющая желания, Соедини меня с ним,

Что бы то ни было, ни было что бы то — Видишь, язык мой готов Пробовать неизменяемость опыта Перестановкою слов.

Смерть, если ты разрываешь сцепления Переживаний сквозных, Верно, противостоишь исцелению Самых безумных из них.

Это безумие, что бы то ни было, Ты сбереги, говорю, А остальное, что было и выбыло, Я тебе так отдаю.

ВРЕМЕНЕМ ДОРОЖА

Λ. Μ.

1

Душе моя, печальные иконы Взирают на усердные поклоны Из сумрачных кивотов, словно из Окошка ночью выглянули дети И слушают, как ветви клонит ветер И бьётся о невидимый карниз.

1988

2

Пройти по грани, временем дорожа, ибо дни лукавы, не блуда и славы, а жизнь с ножа, язык поранив.

Не горизонт вижу я - знак минуса к прожитой жизни.

И.Б.

Я вижу, Люся, на этом месте не жизнь - знак плюса к зверьку детсадову, исчадью адову, нательный крестик.

2010

4

Увидать воочию, въяве, в самом деле как Иов, ворочаюсь *досыта* в постели − самое-пресамое в темноте колдующей. Спи давай, душа моя, призрак существующий.

Всё то, что существует — На знамени судьбы — В сознании рисует Эмблемы и гербы.

Там — вещи, заморочки, Приятельство людей. Здесь — чёрточки и точки, Издательство идей.

Но вывернув перчатку, Изнанку обнажив, Получишь распечатку Прекрасную, как миф.

Иллюзию узорной Души познает прах, Тем паче иллюзорной, Что выдана в стихах.

Тем паче настоящей, Что сонник ладно спет. Кто верит, тот обрящет, Кто светит, тот и свет.

За эту оговорку
О вере и звезде
Поставят нам четвёрку
На будущем суде.

Но может быть, мычанье И ночь грозят в конце За это умолчанье О Сыне и Отце?

2007

6

Запомни этот вкус: щербатое тепло, пещерный сумрак. Сюда, сюда! Здесь ум сосредоточен, душа правдива. Бегом, бегом!

2010

7

Отлепиться от тлена. Клейкую ленту своего сердца отрываю со скрипом от лица милого, от слов желанных, и, как рукопись, всю в пометинах возвращаю автору.

P. III.

Женской поступью водит перо, Шелестя от любви до издёвки. Петрушевской пейзажи: метро, По туннелю напра..., к остановке Двести двадцать четвёртого. Ртом Не мороз, не кусок расстегая, А как новорождённый – роддом, Человеческий град постигая, Выбирается из-под земли Гражданин. Он откуда приехал? Где-то там за рекою, вдали, Продают эти шубы со смехом. Ясьтянол – перевёртыш готов. *He nbu*, *слон*! – а то поезд раздавит. Третий выход наверх. - Будь здоров! Сам себя и родит, и поздравит.

Ни сны, увиденные въяве, ни сны во сне руководить душой не вправе, свиваясь с ней.

Под шип шипучих и гремучих потока чувств я из прозрачных и летучих на дно качусь.

И свет освистанного рая сквозь призму вод, покуда мать-земля сырая не приберёт.

Богом позаброшена, катится в тумане Грушенька-горошина с луковкой в кармане.

Мальчику ли с-Пальчику вынет угощенье, Фёдору ли Палычу кинет в утешенье?

Ах, какая разница: курица не птица. Кто кому не нравится, с тем тому и спится.

КУКУШКА

Строчит отчаянье — вязальная Игла на выворотном шве. Кукушечка провинциальная Не чает нравиться Москве. Заискивает нелирически У царских слуг и барских шлюх, И как живая, механически Года отсчитывает вслух.

ПО ГРИБЫ

Наверх и ползком через ельник: В малиновых брыжжах, Авось, из пещер подземельных Появится рыжик.

Задаром корпеть за двойную (Что — сразу признаться?) Нехитрую жизнь заводную, Пора б разобраться.

Вот это — душа, это — тело. И Бог — молодчина: Вот тут — всё чего-то хотела, Вот тут — получила.

Там бабы в шинелях Патлатые ели На вечнозелёном снегу Стоят через не могу.

А тут эти пальмы На улочках спальных, Как старые девы, скрипят В сухих комбинашках до пят.

Любовь не любовь, так — любвишка-лесбишка, Души перелётной осенняя вспышка, Ни поля, ни пола, ку-ку. Свободы кусочек, Мой синий чулочек, А замуж иду за Москву!

Когда берёзки и рябинки Уже стоят ни то ни сё, А на истоптанной тропинке Мелькнёт замёрзшее быльё,

На эту взрослую картину Пожму плечами: Боже мой, Какая грустная рутина У нашей жизни пожилой,

С какою скукой бессловесной Она любви уже не ждёт, Хотя, на деле, гром небесный Ещё не сразу упадёт.

Навеки милому опостылев, Торчу как столб неосевшей пыли, Сама себе хуже всех.

Из клейких листиков инквизитор Сложил гербарий, и не грозит им Просыпаться из прорех.

Не зря в Испании злится лето. Земля изгнания разогрета За десять знойных недель.

Чем ближе к осени – свет наглее Разоблачает нехватку клея, И средства спасают цель.

Дома плохо. Лучше выйду И шагами изведу Застарелую обиду, Перезрелую беду.

Свет по барам расфасован. Разговляются и здесь, Как на родине попсовой, Мутью с музыкой и без.

Зря, кузнечик обречённый, Вечер ножками сучу. В наказанье воздух чёрный, Чёрный воздух получу.

Жизнь сложилась так, а не иначе. Пьяненькая Тонька на раздаче Высунула голову: «Пожалуйста!» — Ангел на конвейерном кругу — И прикрыв горелое поджаристым, Навалила с горкою рагу. В общем — вкусно, В целом — не могу.

Разочарование, как в детстве, К воздуху подвёрстывает смерть. А душа состарилась, заметь, В сладкой, как десерт, свободе действий.

Даром — шато, шале. Как ни мели Емеля, мысль об NN пролезает в любые щели: чёрная — в черновой, мутная — в нарочитый опыт очередной холода без защиты.

PATIO

Квадрат небес очерчен прочно Стенами патио, и в нём Виденьем в скважине замочной Вся окаёмка — окоём.

Несут керамики избыток Фонтан, ступеньки, желоба. Из тех же выложена плиток Святой Сусанны худоба.

Одно окно не притворили, И створка горестно скрипит: Возможно, старенький Соррилья Там за компьютером корпит.

Уйми задор воображенья: Через недолгих полверсты Пройдёт, как головокруженье, Всё то, что выдумаешь ты.

ΑΚΒΕΔΥΚ*

На улице холодно: во-первых, зима, во-вторых, ночь. В-третьих, город расположен на Месете (скалистом плоскогорье). Горы заснежены снегопадом, который здесь, внизу, скользит моросящим дождиком. Вода всюду: в воздухе, в реках, под ногами. Нет её только в водопроводе, в римском акведуке: его давно уже не используют по назначению.

Акведук сохранился, выжил. Так сохранились нервюры церквей, пострадавших от политики дезамортизации начала-середины XIX века. Тупая политика в хороших целях: экспроприация церковного имущества ради преодоления экономических тягот. Бездна покинутых, разрушенных и распроданных (подпись падре на купчей романской статуи, отбывающей в США) церквей и монастырей. В заброшенных храмах часто остаются одни выступающие рёбра готического каркасного крестового свода – нервюры. Вот и от акведука остались только кожа да кости, потому что ничего другого у него и нет: кости – камни, держащиеся без цемента и гвоздей, одним весом друг на дружку, кожа - эпителий из пыли и тени. В дезамортизацию всё бездарно (или гениально) разграбили и порастащили. У этого водопровода можно похитить только воду.

^{*} Из Википедии: «Акведук проходит по центру современного города. Акведук в Сеговии — самый длинный древнеримский акведук, сохранившийся в Западной Европе. Расположен в испанском городе Сеговия. Длина его 728 м, высота 28 м. Является наземным отрезком многокилометрового водопровода. Дата строительства спорна (вероятно, правление императора Веспасиана). Занесён в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО».

Один мой спутник надменно заявляет: – У вас в России такого нет.

Другой отвечает: – Зато у них есть оружие, чтобы такое разрушить.

Так зубоскалят пространство и время. Третьим к ним, образуя хвалёное триединство, примешивается действие: герой трагедии шаркает к нам навстречу — пьяный мужичок останавливается поблизости, прямо под акведуком, и постояв-помолчав, вдруг уходит, торжественно сообщая:

– Я тут сорок лет живу.

Антонио бормочет ему в спину:

- Ты умрёшь, а ОН всё будет стоять.

Будет стоять в той же самой форме сетчатого хронотопа. Сеть, пряжа, паутина, корзинка, плетёнка, череп, олимпийские кольца, решётка...

В Кафедральном Соборе органист — пожилой мужчина в очках, чем-то смахивающий на Аверинцева, сидит в потёмках за предалтарной решёткой и то ли репетирует, то ли создает заказной фон для туросмотра. Орган расположен под углом к решётке, и музыкант, сидящий в профиль к нам, подобен священнику в исповедальне. Музыка доносится исподволь. Похожим образом некий призрак выдувает свои монодические упования сквозь арки акведука: вместо воды в акведуке играет воздух.

Эта органная музыка, звучащая вне службы, приходится как бы к слову, а не к делу. Как и роскошный огород в ограде соседнего кармелитского монастыря, где похоронен святой Хуан де ла Крус — здоровенные кочаны капусты радуют глаз и по-своему напоминают о великом плакальщике: он так же мог трудиться на таких же грядках, пока слагал в уме духовные стихи.

¿Adónde te escondiste, Amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste habiéndome herido; salí tras ti clamando y eras ido.

Куда ты скрылся, Возлюбленный, презрев мои стенанья? Ты умчался оленем, сначала меня изранив; вослед тебе я бросился с воплем, а след твой уже простыл*.

Зато явился «весомо, грубо, зримо... водопровод, сработанный ещё рабами Рима!»

Вода бурлит и булькает в этой строчке громче, чем в самом водопроводе.

Мы решили проверить, работает ли он, и направились по лестницам вверх, а потом вдоль по длинной улице, чтобы подобраться к голове чудовища и посмотреть на его хребет, по которому должна бы течь вода древнего города. Чем дальше, тем ниже становятся арки, улица всё темнее, дома обшарпаннее, окна их утыкаются прямо в стену акведука - малорадостное зрелище для жителей этих домов. Бесконечное шествие начинает утомлять, но конца ему не видно, пока арки не переходят в голую стену. Антонио обращает внимание на то, что некоторые камни носят на себе отметины: значит это работа средневековых мастеров, требовавших расчёта: на римских камнях нет никаких знаков – рабы не подписывали фактур. Наконец, можно посмотреть на акведук сверху: удивительно узкая и пустая (несмотря на дождь) канавка, русло ручейка...

Куда мне слать укоры, Куда же ты ушёл без сожаленья? Укрыли тебя горы, Как вольного оленя, Зову – и не слышны мои моленья.

^{*} Ср. перевод А. Гелескула:

Восхвалю трогательную поэзию укромных уголков: там, где прячется органист, где растёт капуста на огороде у святого, где начинается римский водопровод. Акведук, вытянувшись во всю длину и высоту ребер, тихо склоняет голову в тёмной трущобе. Смиренное животное, краса Сеговии. Кровь твоих строителей на твоих рёбрах, прободанных ветрами с гор. Красуйся, ликуй, величайся как можно дольше, пропуская сквозь себя воздух времени, преодолевая вибрацию земли от проезжающих под тобой автомобилей. Глазей, пялься, таращи сотни бессонных буркал во веки веков, приобщая и нас своему бессмертию, до тех пор пока не обернулся Возлюбленный. Атеп.

TRÍPTICO

І. МОСКОВСКИЕ СТАНСЫ

1

Да, наяву в новое время вижу Москву. Кому повем я свое «у-гу»?

2

Смотришь из прошлого, как из норы. Раньше тут был магазин «Сыры». От швейцарского сыра осталась дырка, от чеширского рынка — крынка. Вышел хаос, серийный убийца. Соffee House Patio Pizza.

Душа — москвичка, и как ни пичкай ее туфтой и где б ни лечь ей — все певчей птичкой над суетой, все птичкой певчей.

4

Где было ложе, там вышла лажа. Её итожа: бывает гаже. Давай решаться. Давай прощаться.

5

Снегопаденье — благословенье на быть одну. Ну-ну, занеси же, небо, всю душу снегом, будь человеком! Бела рубашка, темна кулиса. Ай да монашка, ай да актриса.

Без фанаберии, с тихим гримом лежат в гробу. Доверить рифмам свою судьбу — из той же серии.

7

Голые сучья. Сугроб. Косноязычье, дитя хрущоб, как знак отличья. Язык родни, и акцент побега на родном и ломаном — вполне сродни этим веткам, поломанным тяжестью снега.

II. ЮРЬЕВ ДЕНЬ

1

Первоапрельской шуткой, Юрьевым судным днем стала эта среда две тыщи девятого года. Заржавленные провода уже пропускают жуткий фантомный скрежет. Приём. Вот тебе и свобода.

2

Весть об измене — сама изменница: каплю терпенья — и перемелется. Одно горе да на другое.

3

Утро, собор, руины, музей изящных искусств. Баба идёт на рынок с полной авоськой чувств.

Такая-сякая вышла жизнь. руками разводишь. Поплачь, как маленький, побожись, и больше не будешь.

5

Одесную – жизнь родную. Сын ошую, девке – розу. А чужую бабу – с возу.

6

Это такое звенящее горе:
На золотом волоске
Виснет душа, из-под купола вторя
Хору живых вдалеке.
Линия между тобой и другими,
Тень между явью и сном,
Легче становится, неразличимей:
Всех-то различий — тело и имя —
снова слова не о том.

Мыло на мыло. Ни мясо ни рыба. Было и было. И то спасибо.

8

Поезд ушёл. Можно теперь о душе. В рифму ещё. Без ямбов уже.

9

На уровне сердца в тумане низменность вдруг очистилась. В небе — ни облачка. Зима отчислилась. Редкая изморозь тут же рассеется. Новая жизнь, с иголочки.

III. ПЕРВОЕ ОКТЯБРЯ

1

Полгода прошло, а ничего не прошло: воз и ныне... Только теперь у корыта не вою, а ною на льдине.

Лето, тем более, скисло в Монголии: яки, верблюды, песни подблюдны, шуточки штучные, овцы курдючные, жареный жир, и — мордой туда же — отверженный сувенир: перо лебяжье.

Горе зайдёт с нового козыря: в облаке озера двойка плывёт.

Рада бы в рай — грехи кусаются. Осень-красавица, давай наступай:

В отблеске дня позднего времени вспомню, что вне меня нет меня.

3

Ни песенкой, ни водочкой, ни лесенкой, ни лодочкой — ни зги ни зги ни зги — частушечной походочкой вокруг своей тоски.

Свобода, что не телишься? Полгода канителишься, всё испускаешь дух, и над душою стелешься как прах — лебяжий пух.

19 АПРЕЛЯ 2009

Огорчение Ада. За прописку и страх Три таджика — ограды Красят в наших дворах

Фиолетовой краской. Бесшабашный, как псих, Снег московскую Пасху Аж в апреле настиг.

На слабо не пытая Мусульманскую вязь, Прямо в воздухе тает, Светотенью ложась.

На мазок иноверца Серебристый стежок — Разорённое сердце Озаряется в срок.

POMAHC

Наконец, получилось проститься — Отцепить, отлепить, отодрать От сердечка любовь-кровопийцу И захлопнуть чужую тетрадь.

Точно смерть отпустила на волю: Как ни в чём не бывало, смогла — По осеннему мёртвому полю — Оглянулась — и дальше пошла.

ЖУЗЕП КАРНЕ

переводы

1. ПЕСЕНКА О БОА

Уже прохладней стали дни, а я и не жалею. Кольцо из меха вьется и укутывает шею. Игре пушистой чешуи завидую и млею. Под взглядом чудища, одни мы с дамою моею. Уже прохладней стали дни, а я и не жалею.

2. К ЖАБЕ

О жаба, вечная мишень для брани и пинка. С брезгливостью к себе ты притворяешь веко. Луч солнца — поцелуй любви для человека, а для тебя — укол разящего клинка.

Но нежно ночь накладывает тушь, в охапку снов беря лесную глушь, — издёвка сострадательного черта! — улыбка и надежда жалких душ; преображается вся мерзкая когорта.

При свете дня ты ужас вызываешь; но здесь, прикрыв глаза, полночный менестрель, прекрасна ты, покуда разливаешь уверенную трель.

И веет от тебя участливым теплом. Когда поет душа, что мир ей равнодушный? Ты, как трава, мягка, ты дождику послушна, Ты – как подсолнух – к солнышку лицом.

3. ТЯЖЕСТЬ В СУМРАКЕ НОЧНОМ

Тяжесть в сумраке ночном, мир удушливей загона, и деревья неуклонно наступают всем гуртом.

Бесполезным медяком катится луна со склона. Небо тихо. Похоронно смешан холод с забытьём.

Полоумный мир унылый входит в спящего тайком. Все мы смотрим сон постылый —

тяжесть в сумраке ночном; дух у жизни под замком, проживаемой вполсилы.

4. B CYMEPKAX

Так поздно, что не до прогулок, – кивают мне из темноты знакомого старого сада и листья, и дни, и цветы.

Как будто потерянный путник, я робко ступаю во тьме, и призраки скорбной сирени вздыхают, себе на уме.

О ночь – острова одиночеств. И звон колокольный вдали волной омывает единой живущих и тех, что ушли.

На оклик оборванной мысли спешу я к огню камелька, к потёртому старому креслу и жалобе черновика.

5. КОЛЬ ЕЩЁ СУЖДЕНО...

Проживу, коль ещё суждено, отголосок далекого пенья. Проживу, как затворник, вдали от болота и от озлобленья. Проживу безучастным судьёй, молча слушая ярые пренья,

точно вросшая в землю стена, точно камень в своём углубленье.

6. БЕЛЬГИЯ

Когда мне суждены чужие земли, котел бы я состариться в стране, где серый свет просеян в желтизне, где в зелени лугов росинки дремлют и клёны с вязами стволы подъемлют; жить тихим незаметным существом средь дружного народа — и не боле, где сердце рядом с сердцем — с домом дом, где улицы впадают прямо в поле. Удержит там дрожащая вода в каналах необузданное небо, в ней на себя любуется звезда.

Состариться бы в городе, где вроде совсем не страшный стражник на посту, там рад любой и трепету мелодий, и деревцу японскому в цвету, где незачем жалеть детей и нищих, где в интерьере — с трубкой искони гостеприимство, и беседа, и пурпурные цветы весь год в жилищах, и в снежные — подумать только! — дни. Порой у церкви пёстрыми рядами разбит базар, и там царит успех, лотки с дарами моря и с плодами земли и всякой всячиной для всех.

А я б себе прогуливался, глядя на всё зевакой праздным, или ради любимой меланхолии моей. Лужайки перед новыми домами, гнездовья старых парковых теней...

Там повстречаешь умниц самых разных; там сотня выдающихся зонтов — увы, не лишних — освящает праздник открытья памятников и садов. И неожиданно, в конце проспектов длинных там рощи буковые с пятнами озёр — для одиночества, любви, и нежных ссор.

От многого вдали, среди сограждан я мог бы стать любым из них и каждым, не в тягость никому, я жил бы честь по чести. А если в старый сад пришли бы вы однажды, вы убедились бы, что я на прежнем месте, как тот фонтан в прохладной тишине, в нём золотые рыбки хороводят. И дети так бы вам сказали обо мне:

— А, это господин, что каждый день приходит.

О ЖУЗЕПЕ КАРНЕ

(послесловие к переводам)

Маленькая Каталония (северо-восточный угол иберийского треугольника) лежит на перекрёстке дорог: и морских — это побережье Средиземного моря, и горных — через её Пиренеи переваливается Европа и легко потом катит в Африку. Здесь живут любознательные, подвижные, смешливые и работящие люди, они дорожат своим языком и национальной идентичностью, и при этом (опыт бесконечных вторжений и наплывов гостей, вплоть до сегодняшнего дня!) умеют оценить достоинства чужеземцев. А если бы кому-нибудь вздумалось поискать пример идеального каталонца, то таковым мог бы стать Жузеп Карне (1884—1970), автор замечательной лирики, драмы, рассказов, эссеистики, переводов и шедевра эпической поэзии «Нави».

Карне всю жизнь служил каталонской словесности, что не мешало ему писать и по-испански. Обожал свою страну, и больше полужизни прожил за границей, где и умер (в Бельгии). Подобно Тютчеву, он работал на дипломатической службе, и, как и Тютчев, был дважды женат и каждый раз на иностранках: после смерти первой жены, чилийки Кармен де Осса, он женился на бельгийке Эмили Нуле. Можно было бы продолжать и дальше сравнивать двух поэтов (обоим свойственны религиозность, поклонение перед природой, патриотизм, меланхоличность), но сравнение это мало что даст читателю, кроме мнемотехнической информации.

Своеобразие Карне перекрывает все возможные параллели. Им написано полтора десятка книг (среди прочих, «Картинки и веера», «Бесполезная жертва», «Спокойное сердце», «Луна и фонарь») и более тысячи

стихотворений. Приход его в литературу был стремительным: в 12 лет он начинает сотрудничать в различных изданиях, в пятнадцать получает первую из многочисленных литературных премий, в восемнадцать заканчивает юридический факультет, а в двадцать факультет философии и литературы, в двадцать семь поступает на службу в филологический отдел Института Каталонских Исследований. Мастер устного слова, европеист, «принц поэтов» (этим титулом и до сих пор принято обозначать место Карне в каталонской поэзии), находясь на пике писательской славы, но, видимо, испытывая материальные затруднения, Карне принимает решение поступить на дипломатическую службу. Он с блеском проходит конкурс, и с 21-го до 38-го года работает консулом — в Женеве, Коста Рике, Гавре, Гааге, Мадриде, Бейруте, Брюсселе и Париже.

Бейруте, Брюсселе и Париже. Приход к власти Франко вынуждает Карне выбрать мексиканское изгнанничество. С этих пор он занимается университетским преподаванием. Вторая половина жизни Карне, несмотря на то, что он продолжает много писать и что его кандидатура выдвигается в 62-м году на Нобелевскую премию, проходит в относительной литературной безвестности: на родине его чтят как некий памятник, но не воспринимают как часть литературного процесса. Характерно, что когда стало возможным вернуться в Каталонию, Карне приезжает на родину лишь коротко, перед самой смертью. Окончательное возвращение, о котором он мечтал, не состоялось: некие индивиды, «находившиеся на ответственных местах каталонской культуры», по словам Пере Кальдеса, помешали этому проекту под тем предлогом, что «не считали своевременным, чтобы Карне вернулся в Каталонию, поскольку, вернувшись, он бы утратил свою символическую роль изгнанника» (цит. по: Жуан Феррате, предисловие к «Избранным стихотворениям», Барселона, 1979)

Только после смерти Карне были всерьез оценены его стихи – их простота и изящество, спокойствие и трезвость

их тона. Бесценны и свидетельства самосознания этого европейца, выходца из маленькой страны, универсализму и возвышенности которого можно поучиться: «Меня нисколько не угнетает чувство, что мы так малы... Иные народы, принадлежавшие к более изысканным деятелям цивилизации, побывали в равных или худших условиях в смысле территориальных обозначений или числа своих жителей... Моё чувство туземца никогда не согласилось бы ни на бюрократическую бездушную болванку, ни на приходской дух, обречённый на бесконечное испарение. У дерева есть свой способ посмеяться над оградой: это ветвиться над дорогой, скажем так — во всю небесную ширь» (из статьи «Универсальность и культура»).

Изящное кокетство «Песенки о боа», сочувствие нелюдиму в «Жабе», одиночество, меланхолия и спокойное достоинство эмигранта остальных стихотворений подборки выражены в оригинальных каталонских текстах Карне с простотой сдержанной и доверительной интимности. В работе над переводами мне очень помогли мои друзья Михаил Яснов и Андрей Чернов, я несказанно им благодарна.

Неисправимый звуколов, Средь чудищ лающих, стозевных, Хожу любительницей слов Равно – родных и чужеземных.

Я жизнь беру на карандаш. Вот ящерица пробегает, Мой друг бормочет: llangardaix. Она исчезла, звук витает.

Существования тоска До той поры переносима, Пока на плоскость языка Хоть как-нибудь переводима.

А смерть-укладчица придёт И — даже охнуть не успеем — Всю нашу музыку сметёт Своим беззвучным суховеем.

С глухим ворчаньем жалюзи Приподымают в королевстве. Звучат в отмеренной близи Обрывки утренних приветствий.

Со сна потягиваясь, свет Распределился по балконам: Горшки, гамак, велосипед. Жить в этом городе легко нам.

Без ностальгических затей Дышать год от году все легче И просыпаться тем верней, Чем горячей café con leche.

Вот оно чужое нежилое, цедит, как хорошенький прибалт, белобрысой лексикой прибоя сагу про ухоженных ребят.

Весь мой день ещё не описуем в терминах небытия, пока я ловлю сусальным поцелуем руку утомлённого попа.

ПАМЯТНИК II

В случае главной утопии

Жаль вроде песни той – деточек Александр Твардовский

...Сквозь те вокзалы, зеркальные копии, Как в зазеркалье провалишься ты... Андрей Чернов

Еврозабора колючая проволока-егоза в гипотетическом случае так и останется за.

Замыслом главной утопии предполагается здесь, в одношестой азиопии, страх расстояньем заесть.

К кисло-кисельному берегу боком причалили дни, вот ведь какую америку нам приоткрыли они,

слава колумбу, а то еще: на тривокзалье лихом песенка спеет — сокровище, в брюхе свернувшись клубком.

Ля-ля-ля-ля, нехорошая, спи, моя радость, усни. Печево дам тебе, крошево, только опять обмани.

Как раковины на бечёвку, Нанизан слух на шум рессор. Свою проедешь остановку — Услышишь лишний разговор.

Звук электрический, жеманный, Как будто тайну выдыхал, Пообещал предел желаний На станции ВДНХ.

Опять накатывает сумрак — Натянутая бечева — И появляется из сумок Людей — шуршащая Москва,

Шести-семи-восьмидесятых, А наверху летает снег, Иного времени осадок, А ишь ты — переживший всех.

В КНИГЕ

I. НА КИРИЛЛИЦЕ

«Это кто там печальным и старым»
«Начинается: "жили да были"»
«Я не соловью пою, а ворону»
«Нечёсаных, немытых»
Cadaqués
«Господи, густой, густой»
«В Средиземье ни с кем мне не»
«Было время – я не знала»
Гранада
Всё то золото (<i>эссе</i>)
«Ни берёза, ни рябина»
«Душа научилась любви человечьей»
«Здесь я. Вернулась. На несколько дней» 23
«Вернуться. Топтаться в прихожей» 24
«Без упрёка и боязни»
«Не хочу говорить на чужом языке» 26
«Если б только на десять минут» 27
«Уложили снежок золочёной парчой» 28
«Да ладно, не нуди на девственном манке» 29
«Объёмные обиды холостые»
«То ли вовне меня, то ли во мне»
«Вымучив послушную улыбку»
«В чистой простоте евроремонта»
«И даже сны у нас такие»
«Век провожая, ни страха, ни горя»
«В ушах прозвучав, остывает, как звон»
«Вот и речка подходит к концу»

«Старообрядческая муза»	38
«С Новым годом тебя, со снежком»	39
Adrall	40
Правда подобия (<i>эссе</i>)	41
«Хотя мне не нравится эта»	45
	46
«Старый город. Свиданья тайком»	47
«Деревьев, выгнувшихся вдоль»	48
«Не запад уже, не восток»	49
«Закрываю глаза: нелюдимо»	50
«Из осеннего неба свисток»	51
	52
	53
	54
II. ВТОРОЕ ПИСЬМО ТАТЬЯНЫ поэма	5 5
II. ПАМЯТНИК КОЛУМБУ	
«В ночь с четвёртого на пятое…»	87
«Семнадцатое апреля»	
Влах в Венеции (<i>эссе</i>)	88
, ,	88 89
«Полчаса прошло с полуночи»	88 89 92
«Полчаса прошло с полуночи»	88 89 92 93
«Полчаса прошло с полуночи»	88 89 92 93
«Полчаса прошло с полуночи»	88 92 93 94 95
«Полчаса прошло с полуночи»	88 89 92 93 94
«Полчаса прошло с полуночи»	88 92 93 94 95
«Полчаса прошло с полуночи»	88 92 93 94 95 98
«Полчаса прошло с полуночи»	88 92 93 94 95 98
«Полчаса прошло с полуночи»	88 92 93 94 95 98 99
«Полчаса прошло с полуночи» Маме	88 92 93 94 95 98 99 00
«Полчаса прошло с полуночи» Маме	88 92 93 94 95 98 99 00 01

Три стихотворения
1. «День недели на кладбище белом» 109
2. «Шифферса проводивши»
3. «Я запасаюсь мольбою заранее»110
Временем дорожа
1. «Душе моя, печальные иконы»
2. «Пройти по грани»
3. «Я вижу, Люся»
4. «Увидать воочию»
5. «Всё то, что существует»
6. «Запомни этот вкус»
7. «Отлепиться от тлена»
«Женской поступью водит перо»
«Ни сны, увиденные въяве»
«Богом позаброшена»
Кукушка
По грибы
«Там бабы в шинелях»
«Когда берёзки и рябинки»
«Навеки милому опостылев»
«Дома плохо. Лучше выйду»
«Жизнь сложилась так, а не иначе»
«Даром – шато, шале»
Patio
Акведук (эссе)
TRÍPTICO
I. Московские стансы
1. «Да, наяву»
2. «Смотришь из прошлого, как из норы» 131
3. «Душа — москвичка»
4. «Где было ложе»
5. «Снегопаденье»
6. «Без фанаберии»
7. «Голые сучья. Сугроб»
II. Юрьев день
1. «Первоапрельской шуткой»
2. «Весть об измене»

3. «Утро, собор, руины»	4
4. «Такая-сякая вышла жизнь»	5
5. «Одесную»	5
6. «Это такое звенящее горе»	
7. «Мыло на мыло»	
8. «Поезд ушёл»	6
9. «На уровне сердца»	6
III. Первое октября	
1. «Полгода прошло, а ничего не»	7
2. «Горе зайдёт»	7
3. «Ни песенкой, ни водочкой»	3
19 апреля 2009)
Романс)
Жузеп Карне (переводы)	
1. Песенка о боа	l
2. К жабе	2
3. В сумерках	3
4. «Так поздно, что не до прогулок» 14-	1
5. «Проживу, коль ещё суждено»	5
6. Бельгия	ó
О Жузепе Карне (послесловие к переводам) 148	3
«Неисправимый звуколов»	l
«С глухим ворчаньем жалюзи»	2
«Вот оно чужое нежилое»	3
Памятник II	4
«Как раковины на бечёвку»	5

Мария Игнатьева ПАМЯТНИК КОЛУМБУ

Верстка и оформление: Наталия Введенская

> Корректор: Андрей Чернов

Подписано в печать 15.09.2010. Формат 60×84/16. Тираж 500 экз. Гарнитура Mysl. Печать офсетная. Бумага офсетная.

Отпечатано в УПЛ факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова

ISBN 978-5-211-05924-5